

Николай Удалыцов

Книга претъя

**ДОРОГА ВО ВСЕ
НЕНАСТЪЯ**

Повестъ

БРАК

Повестъ

Николай Удадьцов

**Дорога во все ненастья.
Брак (сборник)**

«Автор»

2013

Удальцов Н. А.

Дорога во все ненастья. Брак (сборник) / Н. А. Удальцов —
«Автор», 2013

Взгляд на то, какими мы хотели бы себя видеть и какие мы есть на самом деле... В книге дано первое в мире определение любви и сделана попытка сформировать образ современного литературного героя...

© Удальцов Н. А., 2013

© Автор, 2013

Содержание

Дорога во все ненастья	6
Художник Василий Никитин	7
Художник Григорий Керчин	11
Художник Андрей Каверин	14
Художник Петр Габбеличев	17
Художник Василий Никитин	21
Художник Андрей Каверин	24
Доктор Дмитрий Зарычев	28
Художник Григорий Керчин	30
Художник Петр Габбеличев	34
Художник Андрей Каверин	37
Художник Григорий Керчин	40
Художник Петр Габбеличев	43
Художник Василий Никитин	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Николай Удальцов

Дорога во все ненастья. Брак

Скорее всего, я не великий писатель.

Великие писатели пишут для того, чтобы рассказать людям о том, что они поняли в жизни.

Я написал эту книгу для того, чтобы самому что-то понять...

Возможно, кто-то, прочитав эти повести, посчитает их, рванными, скомканными. И, даже, неоконченными.

Но, может быть, они в чем-то еще не начаты?..

Во всяком случае, конца историям, рассказанным в этой книге, как-то не видно...

А, может быть, просто я сделал очень большую глупость...

...Написав умную книгу.

Дорога во все ненастья

Эта повесть написана о том времени, когда еще не было специальных программ по борьбе со СПИДом, и само это буквосочетание вызывало обычный человеческий страх.

Теперь, когда мы научились привычно жить бок обок с этой страшной болезнью, остается сделать вывод о том, что мы, ...вообще, очень быстро ко всему привыкаем.

Впрочем, эта история совсем не о лечении СПИДа. Это история о том, как люди решают свои проблемы ...

...В наступившую, наконец, весну, снег как-то полинял и обнаружил свою истинную сущность – грязная вода с закопченного неба на мусорной земле.

Глазами, своей тоской напоминавшими этот снег, мои друзья смотрели на меня, когда слышали неправду о том, что я попытался создать образ положительного героя в нашей литературе.

Я соглашался с ними в том, что одно словосочетание «образ положительного героя» – заслуживает нескольких оборотов пальца у виска.

И клялся, что никакого «образа» я не создавал.

Просто, как всегда, написал о нормальных людях, здраво оценивающих время, в котором они живут.

Впрочем, может, именно это и есть – положительные герои любого времени...

...Однажды меня спросили:

– Как ты думаешь? За совершенные ошибки человек должен расплачиваться всю жизнь?

– Не знаю, – честно признался я, – Знаю только, что иногда судьба не предоставляет человеку даже этой возможности...

Художник Василий Никитин

Мои взаимоотношения с человечеством ограничивают только мои взаимоотношения с самим собой.

Это не проблема, а констатация факта.

Того факта, что эта проблема существует...

...Болтливость – болезнь ситуационная.

Хотя, отчет в этом – мы отдаем себе не всегда:

– ...Весна лучше осени! – восклицаю я. И, тут же, начинаю оправдываться за это, сделанное мной, довольно спорное, предположение:

– ...Хотя бы потому, что весной девушки на улицах кажутся красивее, чем осенью!

И весной отлично пьется вермут с лимоном, а осень – это время портвейна!

Весна – это нежное свадебное танго, а осень – это бесстыжий канкан года! – каждое сказанное мной предложение завершается восклицательным знаком совсем не потому, что я восторжен сверх меры.

И не потому, что на мою тираду взирают очарованные мной поклонники и поклонницы.

Я попросту пьян, и восклицания – лишь малая толика последствия оставляющих меня тормозов.

На всякий случай, я завернулся в простыню, разглагольствовать голым мне пока еще стыдно – значит не все тормоза меня бросили на произвол судьбы.

Среди сотрудников вырезвителя есть две женщины – это их я стесняюсь.

Хотя называть судьбой милиционерок можно или с очень большой натяжкой, или когда само понятие «натяжка», получает какой-то совсем иной смысл...

Все эти мысли несколько путано, но достаточно быстро звездят в моей голове – правда, не слишком ярко, чтобы ослепить или, хотя бы, оставить след – в то время, как два милиционера-сержанта стаскивают меня с высоты моего роста и, ловко заломив мне руки, так, что хрустнули кости, укладывают на диван.

Сержантов я ненавижу бессильной ненавистью побежденного, но диван я ненавижу еще больше.

Сильной ненавистью соучастника, пойманного на месте преступления.

Собственно, ненавижу я не сам диван, плевать мне на все диваны на свете, а тот запах, который он источает прямо в мой нос.

Застарелый запах пропущенного через желудок алкоголя.

Несмотря на то, что водка делает человека сиюминутным, я многое помню.

В вырезвители я не в первый раз.

За последний месяц.

И ко мне почти привыкли. Во всяком случае, на столько, чтобы не обращать внимания на мои тирады, то есть, собственно говоря, не обращать внимания на самого меня.

Это наше знакомство имеет и обратную сторону: я хорошо изучил характер работников вырезвителя, и очень точно могу, даже когда пьян – а собственно, только когда я пьян, мы и встречаемся – определить ту грань, которую мне нельзя переходить без риска оказаться клиентом с «погретыми» почками.

Многие этой грани не понимают, и вводятся в заблуждение, в общем-то, корректным, особенно по началу, поведением милиционеров.

– Фамилия? – спрашивает меня дежурный.

– Никитин, – отвечаю я, а он, отлично зная все пункты моей биографии необходимые для протокола задержания, начинает острить: «А я думал Айвазовский».

Предполагается, что всем должно быть смешно.

– Постоянное место работы?

– Член союза художников, – говорю я довольно вяло. От моего настроения не осталось и следа.

Даже самого путанного.

– Пьяница ты, а не художник, – это уже не юмор. Это кунсткамеризация фактов, вернее, одна из ее форм.

Доступная стареющему капитану милиции.

– Пьяница тоже может быть художником, и не только художником, но и композитором, и, даже, ученым.

– Что-то я композиторов у нас не вижу, а тебя, художник, чуть не каждую неделю, – постепенно мы оба втягиваемся в дискуссию.

И я тут же оседлываю конька всех более-менее образованных пьяниц:

– Пьяницами были Саврасов, Мусоргский, Глинка, Ломоносов.

Все они спились, хотя и были великими.

Победителя Куликовской сечи, основоположника марксизма и первого президента России, я не упоминаю не потому, что боюсь этих имен, а просто по забывчивости.

Фамилии великих перечисляются мной с некоторой гордостью.

Вроде, как мы люди одного уровня.

В общем – одного поля ягоды.

Подспудно я понимаю, почему это происходит: ошибки, которые делают великие, это уже не ошибки, а форма существования эпохи.

В этот момент я ненавижу милиционеров с их усеченной образованностью и стремлением с каждым говорить на равных.

Мне они кажутся нарушителями гармонии мира, и очень хочется, чтобы такой мир исчез.

Мысль о том, что многие хотят, чтобы мир изменился, просто потому, что не могут измениться сами, появляется в моей мутной голове.

Правда, на столь не значительное мгновение, что, растворившись в мерклом сознании, не оставляет следа, видимо, потому, что эта общая мысль оказывается слишком сложной для персонального дурманства.

Я художник.

Не то, чтобы совсем неизвестный, скорее подзабытый и зрителями, и специалистами, ведь раньше обо мне не раз писали газеты.

Раньше.

Года три назад.

Года два, как я ничего не пишу, а перебиваюсь случайной работой.

Когда мне ее дают.

Эта ситуация создает проблему, которая заключается в том, что за эти два года, я ни разу не был занят делом, о котором смог бы вспомнить через неделю после его завершения.

Впрочем, не бывает такой большой проблемы, на которую нельзя было бы плюнуть.

Алкоголики и дети не думают ни о прошлом, ни о будущем – они удовлетворяются настоящим. Ведь проблема пьянства не в том, что человек, со временем начинает сожалеть о бес-

смысленно прожитом. А в том, что, со временем, пьяница вообще перестает о чем-то сожалеть...

...Говорят, что биография – это всегда версия.

Видимо, моя биография – это версия, которая не подтвердилась.

Профессиональный подъем на гору у меня вышел неспешным, но стабильным, а вот скоростной спуск с горы, хотя духа и не захватывал, но прошел кувырком, под допингом, нивелировавшим боль от ссадин.

Некоторые считают, что я пропил свой талант.

Раньше говорили это у меня за спиной. Теперь говорят прямо в глаза.

А еще чаще не говорят ничего.

Вот и два дня назад, случай такой произошел.

Не случай даже, а так – недоразумение какое-то.

Стояли мы с мужиками у магазина. Нет не с теми, кто свое пальто пропил, или, наоборот, пропил все, кроме пальто и ходит в нем и зимой, и летом.

С такими я дел не имею.

С нормальными мужиками я стоял.

Ну и что с того, что полуботинки я надел, а носки – не очень.

А у одного из мужиков рубашка была без пуговиц.

И рожа немного об асфальт потерта.

И не хватало-то нам всего-ничего – рублей восьми.

Так мимо проходит – мир ведь тесный – знакомый инструктор отдела культуры.

Я его по-человечески попросил, а он даже не ответил – плюнул, и прошел мимо.

В душу мне плюнул.

И разве мог он меня понять:

– Умный – трезвому не товарищ, – это у меня острота такая.

Тем инструктором отдела культуры был мой друг, художник Андрей Каверин...

...Сегодняшний день начался довольно сносно.

Олеся не звонила с утра, и, значит, меня никто не успел начать воспитывать.

Впрочем, в последнее время, меня воспитывает только Олеся.

А остальные воспитатели ненавязчиво отвязались.

Воспитывает.

Она даже говорит, что если я не брошу пить, она сама пить начнет.

Я ей, однажды, налил стакан водки, так ее стошнило.

Иногда, она, если успевает, начинает ходить со мной.

Думает, что когда она рядом, то я пить буду меньше.

Такая она – Олеся.

Олеся.

Разве с таким красивым именем можно воспитывать художника?..

...Я снова вспоминаю о том, что я художник.

Между прочим, Суриковский институт я окончил с отличием.

Раньше, за такое в Италию посылали...

...С утра, деньги на одну бутылку у меня были.

И бутылка выпилась как-то легко, приятно.

Но только я, таким образом, начал хорошо жить, как у меня кончились деньги.

Соседи не дают мне в долг уже давно – слава богу, что старых долгов почти никогда не спрашивают.

Смирились, наверное, но я отдам.

Вот сделаю остановку, и с первого же гонорара отдам.

В общем, рассчитывать мне было не на кого.

И тогда я вспомнил, что у меня есть ключ от мастерской Каверина...

...Мои мысли прыгали по памяти до тех пор, пока их не остановил дежурный:

– Никитин? Сколько полных лет?

«А сколько мне лет?» – как-то уж больно давно перестал я об этом думать.

Тем более – о том, сколько из них полных?

– Тридцать шесть, – ответил я, а потом, непонятно на что рассчитывая, добавил:

– Я – трезвый.

Язык у меня заплетается в косичку первоклассницы, и они это, конечно, видят.

И тогда проводится «следственный эксперимент»:

– Сколько времени? – старый капитан – вечный, до пенсии, дежурный по вытрезвителю, показывает мне свои часы.

Моих у меня давно нет.

Стрелок я, конечно не вижу.

И потому просто мотаю головой.

Я давно заметил, что есть такая мера опьянения: видишь стрелки часов – можешь пить дальше, не видишь – тоже можешь пить дальше.

Только это уже бессмысленно.

Дальше ни лучше, ни хуже не будет.

Ничего не будет.

– На койку...

И меня повели туда, где мне будет плохо.

Я это знаю.

Я это помню.

Сейчас мне более или менее, а вот только я усну, а усну я обязательно, так тут же проснусь.

У меня будет ломить все тело, задираться дыхание, дрожать руки.

Но самой нестерпимой будет жажда.

Она уничтожит желания и достоинство, заберет на иссохший язык все мое существо, и сделает это существо ничтожным.

И сил не будет даже на стон.

И время покажется последним временем жизни.

Это не маргинальные мысли – просто, здоровье на этом закончилось.

А глупость еще осталась.

То, на какую пакость способны милиционеры, в том момент, когда меня вели по коридору, я еще не знал...

Художник Григорий Керчин

Я долго думал, что с людьми нужно поступать так, как хотел бы, чтобы они поступили с тобой.

Потом засомневался в правоте этой мысли и подумал: может с людьми нужно поступать так, как они поступают с другими...

...Первого выстрела я не слышал. И не почувствовал боли в руке.

Вертолет, грохоча двигателями, шум которых смешивался со свистом вращающихся винтов, завис на высоте полуметра, и мне пришлось прыгать в снег метрах в ста от чума оленеводов.

Так, что было не до таких вещей, как выстрелы и ранения.

Тут бы под собственные шасси или задний винт не попасть.

Зато второй выстрел я не только услышал, но даже увидел вспышку пламени вырвавшегося из мелкокалиберного ствола.

А моя правая рука словно наткнулась на какую-то невидимую преграду.

Как оказалось, это была уже вторая пуля в моей правой руке.

Уже лежа на снегу, в темноте полярной ночи, разбавляемой только отсветом луны от белесого снега, я ощутил боль, а вокруг того места, где моя рука коснулась снега, очень быстро стало расходиться черное пятно.

Кровь прошла сквозь белье, свитер, полушубок и теперь выливалась на снег.

Моя кровь.

Что было вслед за этим – помню довольно смутно, но зато отлично помню все, что было до и после этого.

Дело в том, что я приехал в поселок Новый порт на Ямале для того, чтобы поработать промысловиком.

В общем-то, Новый порт это разновидность Края земли. Во всяком случае, все, что южнее него километров на тысячу, местное население называет Большой землей.

С большой буквы.

Вот я и приехал туда для того, чтобы посмотреть – чем живут люди?

Ничего, оказалось, живут: удивляются – как можно жить в других местах?

Вот только с промысловичеством у меня не сложилось.

Оказалось, что на ближайшие много-много километров, я был единственным человеком с высшим образованием. И меня отправили, вместо промысловой бригады, преподавателем в местный интернат.

Потом я узнал, что это такая форма отлова кадров для народного образования. Года за два до меня так же поступили с другим художником – и я совсем не удивился, что тем художником был Петр Габбеличев, с которым я познакомился позже, уже в Москве.

Впрочем, Петру повезло больше – ему не пришлось собирать детей в интернат.

А мне пришлось.

Правда я не знал, что всеобщее среднее образование, гарантированное гражданам конституцией, за Полярным кругом воспринимается аборигенами – ненцами, хантами и еще кем-то, кто живет в тундре – весьма своеобразно.

Мелкокалиберной пулей.

Объективности ради, надо признать – не всегда.

Иногда – картечью.

Мне об этом рассказывали.

И-то, что тут сказать, зимой каждая пара рук и ног в тундре на учете – зимой оленей гонять надо, а не штаны просиживать за партой.

Эти две пули в моей правой руке – мой вклад во всеобщее среднее образование.

Единственный.

И так уж вышло, что моя правая рука подвергалась всевозможным истязаниям довольно часто.

Через полгода, в Тазовской губе, на ее северном берегу, где я ловил рыбу в бригаде местного рыбозавода, волчонок-молокосос – мать-волчицу охотники убили в полном соответствии с бытовавшей в то время инструкцией для промысловиков: «Охотник – убей волка!» – волчонок, которого я попытался выходить в пятилитровой банке, из-под огурцов врытой в снег, разодрал мне кисть правой руки у основания среднего пальца.

А зубки-то у него были не больше спичечной головки.

И я кормил этого волчонка из самодельной соски порошковым молоком, в которое добавлял оливковое масло.

Видимо, ему не нравилось молоко, а может, ему не нравился я.

Через несколько лет, в эпоху дефицита, ускорения и гласности, я, вытачивая раму для картины «Три распятых», отпилил циркулярной пилой первую фалангу большого пальца той же самой правой руки.

Отпиленная часть пальца у меня до сих пор иногда побаливает, а картину я подарил районному прокурору.

Очень красивая была женщина.

Теперь, она областной прокурор, и картин ей я больше не дарю.

Так вышло, что я, как и моя страна в двадцатом веке, нес самые большие потери не в то время, когда боролся с противниками, а в перерывах между этой борьбой.

Когда занимался самым мирным делом – учил детей, придавался творчеству, защищал окружающую среду.

При этом, моя правая рука работает на много лучше левой.

Хотя дискуссии по этому поводу не ведутся – при росте метр восемьдесят семь и весе девяносто два килограмма, у меня «черный пояс», и со мной, вообще не ведется никаких дискуссий по поводу рук.

Причем «пояс» у меня действующий, не смотря на мой возраст – сорок шесть лет.

Правда, на последнем открытом первенстве Москвы мне не повезло – еще в одной восьмой, я столкнулся с Шапиро, чемпионом Европы.

Шапиро оказался отличным парнем, и потом, уже в раздевалке, сказал:

– Вообще-то, бой был почти равным. Просто судьи не захотели «выносить» чемпиона Европы так далеко от финала.

Я предложил подвести его на моем «Ленд-ровере», но он поблагодарил и уехал на своем БМВ.

Да, так уж вышло, что «Ленд-ровер» у меня есть.

Сорок девятого года выпуска.

Он достался мне от отца, генерала, служившего в Германии.

Как «Ленд-ровер» оказался в Германии, я не знаю, а в СССР его перевезли воинским эшелоном.

Машина долго стояла в гараже какой-то части, пока я не подрос и не отремонтировал ее.

Теперь это отличная, безотказная мощная машина, вызывающая зависть некоторых «новых русских» склоненных к чему-то старому.

Особенно, всем бизнесменам почему-то нравятся тиски на переднем бампере – наверное, страсть какая-то ко всему первобытно-железному у тех, кто ни за что тяжелей мобильника не берется.

Мне не раз предлагали его продать, но я этого не делаю, не потому, что богат.

Просто, не продаю и все.

Говорят, что таких «Ленд-роверов» в Москве всего два.

Один у меня, другой – нет.

Другой – кого-то другого.

Что касается того, как я зарабатываю деньги, то делаю я это мастихином – это такая маленькая лопаточка, которой я кладу краску на холст.

Так, что, в определенно смысле, я гребу деньги лопатой.

Только, лопата у меня маленькая...

Почему я об этом думал, когда зазвонил телефон, я не знаю.

Я вообще, в отличие от многих моих современников, очень многого не знаю.

И совсем не на все вопросы у меня готов ответ...

Звонил мой товарищ, Андрей Каверин, и то, что он мне сказал, стало началом страшной истории. Страшной, даже для меня – человека, испугать которого, не так-то просто...

Художник Андрей Каверин

– ... Не слушай ни чьих советов, – сказал мне как-то мой друг Петр Габбеличев. Уже и не помню в связи с чем.

– Почему? – спросил я.

– Спокойней совершаешь собственные ошибки.

Я послушался этого совета Петра, хотя спокойствия мне это не прибавило.

... Однажды, поднимаясь к себе домой, я встретил девочку-соседку по лестничной клетке.

Она стояла у своей двери, и ее губки подрагивали, а глазки с детским трудом сдерживали слезки.

– Что случилось? – спросил я.

– Дома никого нет.

Когда никого нет в своем собственном доме, это действительно может оказаться проблемой.

– Хочешь, пойдем ко мне? – не бросать же мне было плачущего ребенка на лестничной клетке.

– Хочу. А-то, здесь холодно.

Я оставил в соседской двери записку, и привел девочку к себе.

У меня были конфеты. Она пила чай и смотрела мои картины.

– А я тоже рисую, – ребенок отогрелся и начал хвастаться.

– Ты хочешь стать художницей? – почему-то я был уверен, что она ответит: «Да», – хотя бы из солидарности со мной и моими конфетами. Но она неожиданно ответила:

– Нет. Я хочу быть красавицей, как мама...

... Через несколько дней я встретил ее с подружками у подъезда.

– Здравствуйте, дядя художник, – сказала моя соседка.

– Здравствуйте, зайчики, – ответил я, и почти прошел мимо, когда услышал разговор у себя за спиной:

– А чем занимается ваш дядя художник? – спрашивала подружка у моей соседки.

– Он тряпочку красит...

Теперь, если кто-нибудь спрашивает меня: «Что я делаю?» – мне легко дать ответ:

– Тряпочку крашу...

... Художник я потомственный. Художниками были и мой папа, и моя мама, и один мой дедушка.

Другой мой дедушка служил по иностранному ведомству.

Тот мой предок-художник, был настолько велик, что носил имя улицы, на которой сейчас живет одна моя подружка.

Правда, у него не моя фамилия, потому, что он великий предок по матери, а не по отцу, чью фамилию ношу я.

Впрочем, наше разнофамилье не умаляет его значения для национальной культуры.

Если у нас, вообще, есть оно и она...

Таким образом, в деле поступления на худграф, у меня был некоторый гандикап, хотя в этом и не очень приятно признаваться, потому, что все люди рождаются равными.

Только повзрослев, они начинают осознавать все неприятности, связанные с этим...

...Вообще, о людях, и о своем отношении к ним, я задумываюсь довольно часто.

– Как Гамлет, – сказал мне однажды мой друг художник Петя Габбеличев. И я ничего не ответил

Наверное, я смог бы стать Гамлетом, если б все вокруг мне не нравилось, а тень отца объяснила мне – почему...

...Не смотря на все мои раздумины, я не такой умный человек, как, скажем, Петр.

Он, например, без тени сомнения мог позвонить на телевидение во время программы, в которой депутаты и политологи безуспешно пытались высосать из пальца национальную идею, и эту самую идею сформулировать.

А потом, не удивиться тому, что ему ответили:

– Дежурный редактор сейчас занят на другой линии.

Петр очень умный, хотя бы потому, что может сделать то, что до сих пор не сделано, теми людьми, которые должны это сделать.

А может, он очень глупый, если думает, что в стране, где дежурный редактор занят на другой линии, когда формулируется национальная идея, что-нибудь можно сдвинуть с места.

Кстати, Национальная идея, по мнению Петра, должна звучать так: «Величие России через процветание ее граждан...»

И, по моему мнению – тоже.

Впрочем, в разуме свое, я, может быть, еще доберу. Ведь мне пока нет и тридцати.

Хотя, не исключено, что у бога на всех умников просто не хватает ума.

При этом, не от каких споров я не уйду – в споре или побеждаешь, или умнеешь...

...Вообще-то, в том момент, когда зазвонил телефон, я думал совсем не об этом.

Я стоял посреди мастерской и, фигурально говоря, чесал затылок. Во всяком случае, рукой по затылку, я елозил совсем не фигурально.

Потому, что больше ничего другого мне не оставалось.

В принципе, самом ответственном и, одновременно, самом безответственном в человеке явлении, в этой жизни я терял бессчетное количество вещей: я терял подаренные мне зонтики и только что купленные перчатки, забывал в метро сумки и портфели, совал мимо кармана сдачу в магазине и оставлял в лифте коробки с обувью.

Даже первую свою любовь я, не то, чтобы потерял, скорее – разделил себя и ее на разные жизни.

Не то, чтобы мне не как-то особенно не везет, или я чрезмерно безалаберный человек – просто так выходит, и все.

Но тут было явно, что-то не понятное.

Дело в том, что я, несколько дней назад, закончил серию картин.

Это были интересные картины, и, кажется, пока не имеющие аналогов в принципе.

На этих картинах небо сливалось с водой без линии горизонта – черты, соединяющей нас самих с нашим будущим.

Возможно, понимание этого позволяет задуматься о том, что только от нас самих, от наших возможностей и желаний, зависит то, где мы проводим эту черту.

Именно в этом и был философский смысл моей новой серии, серии, состоявшей из пяти картин.

Теперь, у себя в мастерской я видел четыре картины.

Пятой картины не было, а телефон продолжал звонить.

Я поднял трубку.

И стал соучастником истории, по окончании которой, я обнаружил на своей голове первый седой волос.

Но еще раньше конца, я узнал, кто украл и пропил пятую картину.

Узнал, от дежурного по вытрезвителю, которому Вася Никитин признался к краже сам.

Тогда я и позвонил моему другу художнику Григорию Керчину.

Петру Габбеличеву мы позвонили уже вместе...

Художник Петр Габбеличев

Пусть поступки мои будут такими, какими я их представляю в своих мыслях.

... Черт меня дернул спорить с Галей вчера вечером.

Вообще-то, спорим мы постоянно, и что приятно, я регулярно выигрываю эти споры. Хотя и не придаю этому большого значения, потому, что уже убедился в том, что если мужчина способен на многое, то женщина – на все остальное.

Она даже может проиграть, если поймет, что ей это выгодно.

Обычно мы с Галей встречаемся у нее дома. В том бардаке, который я создал в своей полу-квартире, полу-мастерской, это делать не то, чтобы неудобно, скорее, сумбурно как-то.

Ко мне Галя Галкина приходит в порядке исключения, как в этот раз.

Дело в том, что я написал новую картину.

Идея ее была не нова – обнаженная женщина, на коленях, склонившая голову на лежащие на полу руки и разбросавшая волосы перед собой.

В том, что Галя увидит эту картину, для меня представляли интерес два момента.

Во-первых, я писал не ее.

Честно говоря, я писал соседку по лестничной клетке, очень симпатичную барменшу в нашем развлекательном центре.

Который почему-то, называется еще и культурным.

И, в конце концов, у меня появилась возможность выяснить – станет Галкина ревновать или нет?

А второе – оценит ли она название, которое я дал этой картине:

«Едва ли ее можно было назвать красавицей в абсолютном смысле слова, но в ней было что-то такое, что привелось ей стать обыкновенной шлюхой, это сделало бы счастье очень многих мужчин. Впрочем, шлюхой она не была никогда, хотя и по сей день, многие рассчитывают на то, что со временем может произойти все.

Я не знал ее точного возраста, но от тех, кто был знаком с ней давно, я слышал, что она совсем не стара. Во всяком случае, иногда, она выглядела так, словно родилась совсем недавно...

– Что это за женщина, о которой ты пишешь?

– Я пишу не о женщине.

– А о ком?

– Об истине...»

Галя посмотрела картину.

Молча.

Соседка-барменша осталась как-то в тени, как и мое осознание – ревнует меня Галкина или нет?

Признаюсь, меня это несколько разочаровало, но заострять внимание на этом я не стал.

Чем, лишний раз – в прямом и переносном смысле – продемонстрировал, что время от времени, мне удается быть благоразумным во взаимоотношениях с женщинами.

Да и вообще, я отношусь к ревности довольно двойственно, а Галя однажды сказала мне:

– Помни, ревность – это любовь убогого.
– Но, опытного... – ответил я вздохнув.

А вот с истиной, отчасти изображенной на картине, возникли проблемы.
Даже, не то, чтобы проблемы – разночтения.
Наверное, так произошло потому, что наши с Галей Галкиной взаимоотношения – это, кроме всего прочего, отличный информационный срез состояния всей страны.
У которой тоже бывают проблемы с истиной...

Я, конечно, совершил ошибку, когда ввязался в этот спор.
Просту, поступил глупо.
Но что поделаешь – только в детстве еще не боишься делать глупости.
С годами начинаешь сожалеть о том, что уже не боишься их делать.

Огонь запылал когда, уже забыв про картину, я заявил, что бывают взаимоисключающие истины.

При этом, остающиеся истинами.
Например: все люди разные – это истина, и все люди одинаковые – истина тоже.
– С тем, что все люди разные спорить может только идиот! – услышал я в ответ, – И только идиот может заявлять, что все люди одинаковые!..

...Я живу в пригороде, свою машину Галя оставила дома, время было уже позднее – в общем, мы не разошлись по домам, а легли в постель.
Не разговаривая.

Теперь, утром, проснувшись первым, я не знал – в ссоре мы с ней, или нет? А ответ на этот вопрос имел для меня, в этот момент, более чем прикладное значение.

Дело в том, что Галя спала обнаженной. И хотя мы спали под разными одеялами, я ясно видел это потому, что одеяло, под которым спала она, слегка сбилося в сторону, и периоткрыло не широкую, сантиметра четыре, не больше, полоску ее тела.

От подрагивающей во сне шеи до напедикюрных пальчиков ее ног.

У Гали очень красивое тело.
А я лежал рядом и не знал – могу ли я к нему прикоснуться?

Мне не привыкать – попадать в глупое положение, и со временем я стал настолько разумен, что не думаю, что каждый такой раз – последний.

Наверное, у меня появился опыт – понимание того, что не все глупости уже сделаны.

В этом положении мой выбор средств был невелик.
И я применил невыборное средство.
Дело в том, что среди очень многих вещей, я люблю рыбалку. И, как всякий художник – по крайней мере, мне кажется, что всякий художник должен быть таким – я люблю рыбалку не как факт, а как процесс.

И процесс этот, я стараюсь обставить красиво.

Однажды, очень давно, мне пришлось поработать на Московский худкомбинат – я расписал для него пару десятков пасхальных яиц.

В то же самое время в литейке комбината отливали праздничные колокольчики, весом килограмма на четыре. Я и попросил ребят отлить несколько колокольчиков для донок. Колокольчиков маленьких, красивых, звонких.

Ребята, видимо не вполне поняв, что я хочу, отлили для меня колокольчик, красивый, звонкий, но таких размеров, что впору было предположить, что основной моей рыбацкой добычей являются галеосерды кавери – большие тигровые акулы.

Так, как использовать такой большой колокольчик на подмосковной рыбалке оказалось невозможно, я подвесил этот потенциальный сигнализатор поклевки между полками. И время от времени звонил в него.

Звук у этого колокольца, нежный, яркий, вдохновляющий.

Вот в него-то я и позвонил, перед тем, тихо, так, чтобы не разбудить Гаю, выбравшись из постели.

– Ой, какая прелесть, – проговорила она, потягиваясь и улыбаясь. И потому, что она не стала поправлять одеяло, спустившееся с ее плеч и вновь прикрывать обнаженную грудь, я понял, что между нами мир.

Очень сладкий мир.

А то, что я при этом выиграл спор о том, что все люди все-таки иногда бывают одинаковыми, я от Гали скрыл.

Не мог же я рассказать ей о том, как много женщин я будил таким образом.

И всем это нравилось одинаково.

Уже потом, когда я слегка усталый, но довольный, принес ей, слегка усталой, но довольной, прямо в постель чашку кофе и маленький бутербродик с сыром – вообще, какое это удовольствие, приносить женщине кофе в постель «потом» – Галя, очень ненавязчиво, поставила мой задранный от гордости за свою хитрость, нос на место:

– Лежу, сквозь ресницы смотрю на тебя и думаю: что ты будешь делать? А ты смотришь на меня и не шевелишься.

Тогда, я левой рукой слегка сдвинула одеяло, так, чтобы ты увидел меня.

Ты – опять без движений.

Ну, думаю, придется изобразить приснившийся кошмар и совсем сбросить с себя одеяло.

Если ты и тут не пошевелишься – убью тебя.

И суд меня оправдает.

– Ты уверена в том, что оправдает?

– Ну, оштрафует на два минимальных оклада.

– Так мало?

– За мужчину, не обращающего внимания на лежащую рядом обнаженную женщину – никакой суд больше не даст.

– Конечно, – согласился я, – Если судьями будут не мужчины.

Впрочем, если судьями будут женщины, они, в таком случае, может быть – убитого еще и в тюрьму посадят...

– А Бог? Он ведь, кажется, против секса? – поинтересовался я из чистого любопытства. Видя, как Галя, после сна, возвращает на себя украшения, среди которых был маленький золотой крестик на тонкой цепочке.

– Перед Богом, я покаюсь.

Знаешь, есть такие приятные грехи, в которых даже каяться – удовольствие...

В общем, в смысле хитрости, у нас получилась ничья, и именно в тот момент, когда я оценил это, зазвонил телефон.

И я стал соучастником истории, которая поначалу развивалась банально, как очень многое в этом мире. Правда, почти сразу, я услышал слова, которые должны были заставить меня о многом задуматься.

– ...Галя, – мой голос звучал виновато, – Звонили Керчин и Каверин. Они собрались для того, чтобы вытащить Никитина из вытрезвителя.

Мне нужно уйти.

– Иди.

– Ты не обидишься на меня за это?

– Нет. Потому, что если ты не будешь серьезно относиться к своим друзьям, я не поверю в то, что ты будешь серьезно относиться ко мне...

– Я пошел, – сказал я Гале, целуя ее обнаженное плечо.

Как сказал однажды я: «Лишний раз поцеловать красивую женщину – никогда нелишне.»

Отлично понимая, что Галя слишком профессиональная женщина, чтобы не оценить это.

И-то, чтобы не оценить это – нужно быть женщиной дилетанткой.

– Иди, – ответила мне она. А потом тихо добавила.

Или мне это только показалось:

– А я, пока, твоей соседке-барменше глаза выцарапаю...

Художник Василий Никитин

Для того, чтобы не причинять другим вреда, нужно быть либо мудрецом, либо покойником – эти две крайности существования, иногда, являются прекрасным оправданием для тех, кто не мудр и жив.

Для тех, кто не мудр и жив.
То есть, для всех тех, кто ищет себе оправдания...

... Что ж, такова природа.

Диалектика, вдоволь наизголявшись над белковой первоклеткой, подключив теорию вероятности и став, таким образом, эволюцией, создала, помимо всего прочего, меня – человека.

Таким, какой я есть
Теперь мы оба – и я, и эволюция – за это расплачиваемся...

Когда-то я был красив, перспективен и удачлив. Теперь пришло время задуматься над тем, каким я все-таки был на самом деле?..

И, наверное, теперь я соглашусь с моим другом Петром Габбеличевым, который однажды, где-то посреди моей персональной лестницы, ведшей меня вниз, сказал:

– Самое скудное в человеке – это постоянное обещание будущего...

...Когда я начал пить?

Если говорить честно, то еще с десятого класса – выпить я любил всегда.

Не отказывался от пива в кино и от портвейна в подворотне. Хотя, подворотня появилась не сразу, а постепенно.

Как появляется многое из того, что мы или долго ждем, или не хотим замечать.

Слаб человек, и оправдание себе он всегда найдет – я отдаю в этом отчет, и не вру себе. Никаких особенных проблем у меня не было.

И потому, с водкой у меня оказалось все просто. Ведь водка – это лучшее из средств, не помогающих ни при каких проблемах.

Она сама становится проблемой, когда входит в привычку.

Ведь привычка – это единственная натура.

А проблема водки заключается в том, что она становится единственной привычкой.

Когда появились первые разговоры о том, что я спиваюсь, я не поверил им, и подумал, что это просто сплетни. Хотя, мне бы задуматься о том, что о добродетелях не сплетничают.

Может, отнесись я тогда к этим словам иначе, многое сейчас было бы по-другому.

Впрочем, я вру – ни к чему прислушаться я уже не мог, ведь водка – это слишком хитрая вещь, чтобы позволить обратить на себя внимание.

Того, кто хочет быть обманутым, обмануть не трудно.

Ни карманнику, ни судьбе.

Впрочем, судьба – это, иногда, тоже карманник...

Но постепенно, настало время, когда я одинаково плохо стал переносить и выпивку, и ее отсутствие.

Моя душа, вначале кричала, потом говорила все тише и тише: «Брось пить!», – но тело постоянно требовало водки. А я, как полководец, ведущий обе противоборствующие рати, пытался руководить и душой, и телом.

И победа водки надо мной заключалась в том, что я думал, что еще могу делать это успешно.

Приблизительно тогда же, я начал ругать всех, кто меня окружает.

И помню, сказал Петру по какому-то поводу, вычитанному в газетах, что-то вроде:

– Вот видишь, наш мир стал таким, что все люди превратились в сволочей, – но Петр ответил:

– Это не мир стал хуже. Просто лучше стали газеты...

Когда, случайно встретив на улице своего друга, художника Гришу Керчина, я сказал ему что-то в том же духе, тот, как-то странно посмотрев на меня – не хотелось признаваться себе в том, что странность его взгляда имела простое название: презрение – ответил:

– Как бы плохи не были времена – люди умудряются быть еще хуже...

Что же, со временем судьба отомстила мне – теперь я не люблю себя почти так же, как не любил тогда своих ближних.

Наверное, я еще не совсем спился, если еще могу думать так.

А я могу так думать.

Только мне становится совсем плохо.

Начинается трясучка, такая, что в первый момент мне кажется, что это трясет машину, в которой я еду.

Вернее, меня везут.

И я даже не знаю – куда?..

...Я сижу на переднем сиденье «Ленд-ровера».

Рядом со мной, за рулем, Гриша Керчин.

Петр Габбеличев и Андрей Каверин – на заднем сидении.

Но туда я не смотрю.

Мне стыдно перед Андреем. Его картину я украл из мастерской и обменял на две бутылки у гастронома.

Но мое состояние становится нетерпимым мной:

– Братцы, стойте... – шепчу я, и Григорий тут же сворачивает на обочину:

– Тебе плохо?

– Плохо, – мой голос напоминает предсмертный хрип.

– Тошнит?

– Да, нет, – несколько секунд я молчу, но не выдерживаю и перебиваю стыд, еще сидящий во мне, – Братцы, давайте где-нибудь остановимся. Купите опохмелиться.

Я говорю это, ни на кого не глядя, но замечаю, как Григорий оглядывается назад, туда, где сидят Андрей и Петр.

По всеобщему молчанию, я догадываюсь, что в моих друзьях происходит внутренняя борьба.

Тогда я оборачиваюсь поочередно к Петру и Андрею, и они видят – каким трудом мне дается это не сложное телодвижение.

А я вижу, как левая рука Петра опускается в правый внутренний карман его кожаного пиджака.

По тому, как внимательно слежу я за движением Петра, наверное, всем ясно, как важен для меня результат этого движения.

Я даже не замечаю того, что это движение Петра вызывает сомнение на лицах Григория и Андрея.

Моя надежда заключается в том, что Петр вытащит бумажник, но результат превосходит все надежды – Петр достает из кармана плоскую фляжку коньяка.

Двухсотграммовую.

Такого гуманизма я не ожидал даже от Петра.

Впрочем, ожидаемое вообще происходит редко. Может потому, что на его месте всегда оказывается неожиданное.

– А стоит ли? – спрашивает Григорий.

– Перевоспитывать человека надо. Но не в то время, когда его трясет, – отвечает Петр.

– Вряд ли это разумно, – Гриша поводит плечами, и в этот момент я его ненавижу. Я уважаю Петра, который, довольно вяло, отвечает:

– Нормальный человек должен быть достаточно разумным, чтобы не всегда следовать своему разуму всегда ...

– Ты ведь, среди нас единственный не пьющий? – в словах Андрея звучит сарказм, и Петр отвечает, произнося слова очень тихо, но как-то так, что их отлично слышит каждый из нас:

– Это не значит, что я забыл то, каким бывает это состояние...

Фляжка в моих руках, и уже через несколько секунд ко мне возвращается красноречие:

– Собратья, может мне записаться в общество анонимных алкоголиков? – но Петр, не смотря на свое добродельство, не разделяет моего оптимизма и говорит толи грустно, толи презрительно:

– Анонимных алкоголиков придумали алкоголики обыкновенные...

...Пока я так и не узнал, куда меня везут.

Как, не узнал о том, каким был разговор между моими друзьями.

Разговор о том, что делать со мной?...

Художник Андрей Каверин

То, что картину из моей мастерской украл Васька Никитин, я узнал от милиционеров из вытрезвителя.

При этом я зачем-то – словно кражу мог сделать кто-то другой, раз уж картина оказалась украденной, а ключи были только у меня и у Василия – переспросил:

– Вы уверены, что это он украл мою картину?

– Уверены, – ответил мне голос, находившийся где-то по середине, между сержантским и майорским, – Никитин сам рассказал об этом.

– Интересно, что еще рассказывают люди, попадающие в вытрезвитель?

– Ничего особенного. Доказывают, если язык ворочается, что они трезвые.

Или грозят нам своими связями.

Но мы, почему-то, не боимся.

– Я бы, на вашем месте, не боялся – тоже.

– А вам не нужно быть на нашем месте.

Вам нужно на своем месте решать, что с ним делать?

– И что я могу сделать?

– Подать на него в суд, или... – человек на противоположном конце телефонного провода не на долго задумался, над той мерой откровенности, которая допустима со мной в данной обстановке, – Или попросить нас запротоколировать обнаружение человека в стадии глубокого опьянения и со следами тяжелых телесных повреждений на теле.

Второе обойдется вам дешевле.

– Не трогайте его. Картина – это наше частное дело, – сказал я. А потом зачем-то спросил:

– Деньги у него есть? – и получил в ответ, донесенную до меня телефонными проводами без каких-либо искажений, ухмылку:

– Конечно, нет.

– Хорошо. Мы сейчас приедем.

– Можете не торопиться. Пусть поспит.

– Почему? – несколько невпопад, спросил я. Но здесь некоторым оправданием мне, может служить то, что большинство вопросов, задаваемых людьми, задаются невпопад.

– Кто поздно встает, – ответила телефонная трубка, – Тот рискует опоздать в меньшее количество мест, чем тот, кто встает рано.

Несколько подивившись такой глубине философской фантазии милиционера и, мысленно произведя его в подполковники, я позвонил Грише Керчину.

– Приезжай ко мне. Тем более что торопиться нам действительно не стоит, – сказал Григорий, а потом, неожиданно спросил:

– Сколько стоила картина?

Вообще-то, любой нормальный художник – это богема.

То есть, человек, для которого процесс важнее факта.

Да я как-то и не подумал о том, на сколько же «нагрел» меня Васька:

– Наверное, хватило бы на то, чтобы плюнуть на все месяца на два.

Я не самый бедный и несчастный человек в стране, хотя о каких-то великих доходах в моем положении смешно было бы говорить.

Может быть, меня отслеживает удача. А, может, я понимаю, что удачу нужно просто заработать.

И я, и мои друзья, мы регулярно много и хорошо работаем, чтобы иметь кусок хлеба с небольшим слоем масла.

Впрочем, честно говоря, я не верю, что в наше время, да, тем более в Москве, тот, кто занимается делом, а не сериалы смотрит с утра до вечера, может остаться голодным.

Правда, однажды, я, по какому-то поводу, сказал Пете Габбеличеву:

– Знаешь, у меня сейчас нет ни рубля не в одном из российских банков. И всегда не хватает наличных.

Петр посмотрел на меня и пожал плечами:

– Знаешь, у кого, как и у тебя, нет ни одного рубля в российских банках, и кому, тоже всегда не хватает наличности?

– Кому?

– Рокфеллеру.

– Какому? – довольно бессмысленно спросил я. И Петр ответил так же бессмысленно:

– Юджину, например.

Я вспомнил этот смешной случай по дороге к Григорию.

На душе у меня было муторно...

...Познакомились, мы, четверо, несколько лет назад.

И очень быстро сошлись, вначале на том, что каждый из нас побывал на Севере, а потом, уже и сам не знаю – на чем.

Общаясь, мы не касались своей профессии.

Не впускали в свое дело никого уже тем, что не выпускали из себя слов о творчестве – понятии ясном и расплывчатом одновременно.

Впрочем, это слово употреблялось каждым из нас очень редко.

Кстати, его вообще, употребляют чаще всего те, кто имеет к творчеству, в лучшем случае, косвенное отношение.

Да, и-то: говорить с художником о картинах – все равно, что обсуждать марки бензина с нефтяной вышкой.

Но, если уж мы говорили о картинах, то называли их картинами, а не работами.

И как-то так выходило, что, оставаясь, каждый, при своем мнении, мы практически никогда не противоречили друг другу.

Наверное, мы просто шли одной дорогой.

Хотя, походка у каждого из нас, была своя.

На посторонний взгляд – странно.

Во всяком случае, чего-то общего между нами не много.

Возможно, сошлись мы именно на этом.

Из нас четверых, какую-то государственную службу имел один я – я числился инструктором районного отдела культуры.

Однажды я предложил, так никому конкретно, кого-нибудь куда-нибудь устроить. Гриша промолчал, а Петр ответил:

– На работу ходят те, кому делать нечего.

Занятому человеку на работу ходить некогда...

...То, что Василий Никитин стал пить, мы заметили не сразу.
Кстати, мы вообще, редко для друзей, видимся.

Правду сказать, Васька и раньше выпивал регулярно, но довольно долго, это как-то не очень бросалось в глаза.

Не бросалось в глаза.

Просто спросит кто-то: «А Васька, как там?» – а в ответ: «Звонил я ему на днях. Кажется, он выпивший был...»

А потом начались вырезвители.

И Гриша Керчин, и Петя Габбеличев, и я – ездили к нему, и вместе, и поодиночке.

И, как правило, одно и то же: или лыко не вяжет, или клянется, что «завязал».

А теперь, я ехал к Керчину, для того, чтобы попробовать решить эту проблему.

Если – это проблема, которую можно решить...

– ...Делать нечего, – проговорил Григорий, помолчав после того, как мы оба поочередно помолчали, – Лечить его нужно.

– А может – пробудить как-то его усилие воли, – я довольно часто говорю то, во что не верю. Этим я похожу на всех людей, которые что-то говорят.

– Разве усилием воли можно вылечить обыкновенный насморк? – пожал плечами Григорий.

И я тоже пожал плечами.

Не в знак солидарности, а потому, что больше ничего не оставалось потому, что я знал, что водка сильнее человека...

– В Калуге есть хорошая больница, я навел справки, – вот так вышло, что Григорий уже навел справки, а я всего лишь занимался воспоминаниями...

– А, что – Москве разве ничего подходящего нет?

– Все очень или дорого, или халтурно.

А Калуга еще не слишком сильно испорчена рыночной демократией в медицине...

...Разумеется, никто из нас не имеет ничего против рыночной демократии.

Помню, как при мне, еще несколько лет назад, кто-то спросил Васю Никитина:

– Вы за правых или за левых? – и Вася ответил:

– Мы – за правых.

Больше того, лично я, иногда оказываюсь даже несколько правей, чем здравомыслие...

– ...Петра возьмем с собой? – спросил я Гришу. Хотя, ответ был очевидным.

Петр – единственный известный мне человек, который сохранил принципы. Правда, он ни за что не признается в этом, если его спросить, потому, что принципы это инструкции для тех, кто боится быть правым сам по себе.

Однажды, он даже сказал мне:

– Принципы нужны только тем, у кого их нет.

И, не смотря на наличие принципов, Петр остался нормальным человеком.

– Конечно, позовем Петра, – ответил Григорий, – Должен же среди нас находиться хоть один интеллигент. Хотя он и связался с Галкиной.

Про связь Петра с Галкиной я ничего не знал, и удивился потому, что все знали, что Петр и Галкина – враги такие, что водой не разольешь.

Правда, виду не подал.

Но мне тоже захотелось внести свою лепту в критику друга:

– Петр, конечно, интеллигентный человек, хотя он и смотрит телевизор...

...Когда Петя приехал, Гриша рассказал ему про калужскую больницу, и про научные разработки тамошнего врача, а я зачем-то прибавил:

– Говорят, что современная наука способна решать все проблемы не только прошлого, но, даже, будущего.

– А нынешнего? – спросил Петр. А потом, помолчав, добавил:

– Что-то я не слышал ни про одного покойника, которому помогли бы врачи...

Доктор Дмитрий Зарычев

«Медицина – это тоже философия», – нужно же было написать такое на фасаде медицинского института...

«...Здание, которое занимает вторая психоневрологическая больница города Калуги, и где я работаю заведующим вторым отделением, было построено для детей испанских республиканцев, побитых своими соплеменниками, не смотря на то, что этим самым соплеменникам, республиканцы обещали справедливость на земле.

Причин этого было множество:

Может, республиканцы забыли, что Испания – это страна не сказок, а романтических историй, а кому, кроме нас, россиян, можно подсовывать сказки под видом манифестов.

Или, может республиканцы, для начала, расстреляли слишком много непричастных, чтобы потом у соплеменников не выработалось бы рефлекторной дуалистичности: республиканец – бешеная собака.

А может, просто рожи этих республиканцев соплеменникам не понравились. Хотя, признаться, мне приходилось видеть альбом, его потом в какой-то музей передали, с фотографиями этих самых республиканцев – рожи, как рожи.

Ничем не хуже, чем у конституционных монархистов, или членов любой другой секты,» – думаю я, и сам удивляюсь тому, какая чушь лезет мне в голову.

Впрочем, меня понять можно.

Всю ночь, кошки, которые понятия не имеют о том, что настоящая любовь бывает только днем, устраивали свои свадьбы под моими окнами.

И вот теперь я иду на нелюбимую работу еще и не выспавшийся, в придачу к тому, что мне вообще не хочется на работу идти.

Я не в обиде на кошек.

Во-первых, еще не хватало, чтобы я на кошек обижался.

А во-вторых, весна – есть весна.

Весна – это время, когда все женщины красивы.

В том числе, и медсестра из первого отделения, Лара, которая идет на работу впереди меня, и не догадывается, что, идя позади нее, я ей восхищаюсь.

У нее очень красивые ноги, сейчас обутые в туфли на высоком каблучке.

Видимо во мне огромные запасы восторженности.

Несмотря на мою работу, я еще могу восторгаться знакомой женщиной, даже зная, что она мне не отдастся...

...В детстве я мечтал стать водолазом.

Лет до семи.

Интересно, каким бы был мир, если бы все люди становились теми, кем хотели стать в детстве?

Во всяком случае, в этом мире был бы очень большой дефицит психиатров-наркологов.

А, может, психиатры-наркологи в этом мире и не понадобились бы вовсе...

...Еще подходя к дверям своего отделения, я заметил во дворе непривычный автомобиль. Хотя, привычными во дворе отделения являются только кареты с красными крестами на дверцах.

Впрочем, что именно, в этом автомобиле являлось непривычным, я не подумал, а только обратил внимание на не большие тиски на переднем бампере.

«Передвижная мастерская какая-то...» – подумал я и поднялся в свой кабинет на втором этаже.

Номера на автомобиле были московскими.

Когда я вошел в свой кабинет, комнатку так себе, безремонтную уже лет восемь, со столом, помеченным алюминиевой биркой «Собственность райотдела здравоохранения. 1958 год», настенные часы показывали одиннадцать.

Начало моего рабочего дня. Раньше приходит только дежурный врач.

А иногда, и он не приходит.

Утром больные завтракают, потом, под контролем санитаров, занимаются действием под непонятным и им, и врачам названием «трудотерапия», и лишь после всего этого начинается то, ради чего они – и те, и другие – здесь оказались.

Лечение.

Впрочем, ради чего оказались здесь две трети из больных – для меня секрет, что-то вроде государственной тайны.

И не понятно.

И не понятно – кому это нужно.

То, что большинство из моих пациентов возьмутся за стакан часа через полтора после того, как покинут нашу больницу, я знаю. Как знаю то, что большинство из этого большинства через год-два снова окажутся здесь.

Такими же, как были.

Только на один пьяный год более поношенными.

Три-четыре человека из полусотни, хотят лечиться, и к ним я применяю свою собственную методику.

Я опубликовал ее в виде монографии, но она затерялась в потоке таких же монографий выползших на божий свет во времена антиалкогольного указа.

Теперь уже почти забытого.

Диссертацией эта монография так и не стала.

Что поделаешь – даже в конъюнктуре важна конъюктура конъюктуры.

Я знал истории болезней тех, кто лечился по-настоящему, но для чего-то все равно достал тоненькие папочки из верхнего ящика стола:

Семенов В.И. инженер, белая горячка.

Рублев П.Л. рабочий театральной сцены, белая горячка.

Скрипников Ю.Н. учитель, корсаковский психоз.

Ну, что же.

Можно приступить к работе.

Работе, при которой учителя с корсаковским психозом встречаются куда чаще, чем без него...

Художник Григорий Керчин

Это хорошо, что с нами был Петр – он умеет прояснить самую запутанную ситуацию.

В этот раз, он прояснил ситуацию так.

Еще когда мы только подъезжали к зданию, в котором находился вытрезвитель, я не то, чтобы спросил, а скорее, размыслил вслух:

– А мы сами понимаем – что хотим сделать для Василия? – и Петя, не то, чтобы ответил, а скорее, размыслил в ответ:

– Нет. Но ведь нас не смущает то, что мы не всегда понимаем – что хотим сделать и для всех остальных людей...

...Калуга открывалась Киевскому шоссе постепенно, меланхолично и неторжественно – как-то провинциально.

Вначале огородами, с малюсенькими домиками в одну-две комнаты, потом пригородными деревнями, где среди деревянных домишек попадались кирпичные особняки олигархов местного масштаба, и, наконец, своими дореволюционными пригородами.

Восстановленными церквями, золотившими окружающую действительность своими куполами.

– Красивые купола. Было бы время, здесь вполне можно было бы поработать, – сказал Андрей, а я вспомнил, как недавно разговаривал с батюшкой из церкви Иоана-война:

– Видимо, я никудышный православий, – сказал я ему, когда оказалось, что я не знаю, какой рукой нужно креститься, – Утешает то, что католик из меня получился бы еще хуже.

А батюшка ответил мне:

– Если сомневаешься в своих добродетелях, значит с православием в твоей душе все в порядке...

У батюшки было два «Ордена Боевого Красного знамени», а у меня только грамота от ЦК профсоюзов, но он признавал мое право разговаривать с ним на равных.

И мы оба не лицемерили.

Я ведь и вправду, до сих пор не знаю, что больше портит жизнь большинству людей: мысль о том, что Бога нет, или мысль о том, что с Богом когда-то придется встретиться...

...Калужский пригород завершился своим чередом. А потом появился сам город.

Среднеэтажный, среднечистенький.

Среднебезработный.

– Калуга – красивый город, – проговорил Андрей.

– Почти, как Тверь. А Тверь – очень красивый город, – ответил ему Петр.

– И Калуга, и Тверь – красивые города, – добавил я. А Петр подытожил:

– И Калуга, и Тверь – красивые города.

Если в них жить не надо.

Все чужие города красивые, до тех пор, пока в них не приходится жить. А, как только в них начинаешь жить – они становятся тем, что они есть.

Чужими городами.

Наверное, оттого все люди живут в своих, а не в чужих городах...

...Найти дорогу к больнице было не сложно. Прямо на въезде в Калугу стоял указатель «Ахлебинино», а в самом Ахлебинине оказалось одно единственное здание, огороженное забором из металлических прутьев.

На побеленных воротных столбах, видимо для тех, кто не верит с одного раза, висели две черные таблицы с желтыми буквами: «Вторая психоневрологическая больница г. Калуги»
По одной на каждый столб.

Василий тоже увидел эту надпись.

Он посмотрел на меня, и его лицо потускнело:

– Вы верите, что я брошу пить? – в этот момент, он был настолько жалок, что я не смог ему соврать:

– Нет. Ведь водка сильнее человека.

Но это ничего не меняет...

Вася вышел из машины, но не пошел никуда, а так и остался стоять в нерешительности в нескольких шагах от «Ленд-ровера».

И тогда Андрей тихо проговорил:

– А ведь когда-то его картины можно было любить без сострадания.

Петр ответил:

– Когда-то, без сострадания можно было любить его самого...

Вообще, слово имеет очень большую силу.

Даже не смотря на то, что дураки тоже так считают.

Помню такой случай – заехали мы с Андреем к Петру.

А у Петра был, да кажется, продолжается и сейчас, весьма своеобразный роман.

Впрочем, то, что у Петра был роман – это не удивительно. У него все время роман с кем-нибудь.

Удивительным было другое.

Однажды я слышал разговор между этими «любовниками». Конечно не весь разговор, а только ту часть, которую можно услышать, находясь в одной комнате с человеком, говорящим по телефону:

– ...Сегодня холодно. Ты не забыла надеть теплые носочки?

– ...А шарфик ты надела?

– ...А теплые колготочки?

Для разговора между любовниками – самое оно.

Но в тот раз, слушая их разговор, я как-то даже не задумался о том, что если мы так заботливы и деликатны со своими женщинами – то, какого черта они нас терпят в постели?

Добавлю, что Петру пятьдесят четыре, а она – училась в одном классе с его старшим сыном. И Петр называл ее «доченькой». И еще – «Баунти».

Как-то раз, «доченьке» приехал ее одноклассник.

Бывший спецназовец, или что-то в этом роде.

В общем, самбист и боксер в одной коробке.

И стучался он в дверь Петриной квартиры именно как самбист и боксер, по крайней мере, районного масштаба.

– Ну-ка, выйди, дядя Петя, – сказал он Петру, – Разговор с тобой будет.

– Когда-то, когда они все приходили ко мне делать уроки, я кормил их конфетами, а они говорили мне: «Вы...», – проговорил Петр, оглядываясь на нас с Андреем.

Мне этот спецназовец сразу не понравился:

– Давай-ка я выйду с тобой.

– Не стоит, – ответил мне Петр, – Сидите на месте.

Но я не успокоился:

– Андрей, выйди-ка за ними. И если – что, ни во что не ввязывайся, а зови меня.

Потом, Андрей рассказал мне, каким получился разговор:

– Если я тебя еще хоть раз с ней увижу, дядя Петя – придушу, – начал спецназовец, или, кто он еще там. А Петр спокойно ответил ему:

– Знаешь, Максим, какое огромное преимущество у меня перед тобой?

– Какое еще преимущество?

– Если ты, молодой спортсмен, справишься со мной, пожилым уже человеком, то это будет позор для тебя.

А если не справишься – тоже позор.

Малый был явно озадачен:

– И что же мне делать?

– Быть лучше, чем я...

– Вот и весь конфликт? – спросил я Петра.

– Конечно – нет, – ответил он.

– А в чем проблема?

– В том, что я не рассказал ему о том, какое огромное преимущество у него передо мной.

– А какое ж у него преимущество?

– Возраст...

– А почему бы тебе ни жениться на ней? – спросил я Петра.

– Потому, что я на три месяца старше ее отца.

– Не думай о возрасте. Сделай человека счастливым на год – и считай, что поступил честно. Это куда важнее, чем фантазировать о вечности.

– Для этого мне нужно говорить с ней о любви.

А в моем возрасте говорить о любви к молодой девушке – это брать кредит, который ты заведомо не сможешь отдать...

– Не переживай, – сказал я ерунду. Правда, выбора слов у меня не было, – В любом возрасте есть свои достоинства и свои недостатки.

– Не переживаю, – ответил Петр, – Но возраст – это не грядка для целей, а могила для иллюзий...

Вообще-то Петр, словом владеет.

Видел я однажды, как он разговаривал с покупателем его картины.

Есть такие покупатели, которые спокойно могут выложить тысячу проигранных в карты долларов, но не понимают, как можно платить за картину:

– Триста долларов? Вы же ее сами написали?

– Если бы эту картину написал не я сам, а Ван-Гог – она стоила бы тридцать миллионов.

– Триста долларов за не большую картину? – не унимался покупатель.

– Для этой картины, это совсем не дорого. Может быть, это дорого для вас? – такое тонкое хамство, покупатель не раскусил, и продолжал кипятиться:

– А для вас – это не слишком жирно?

– Для меня? – тут Петр свалил покупателя наповал, потому, что заставил его шевелить мозгами:

– Вы – что? – сказал Петр, – Мне не по карману покупать мои картины...

...И вот теперь, Вася Никитин один стоял у капота моей машины и молчал.

И мы, сидящие в машине, молчали тоже, и, наверное, каждый из нас думал: «Пошли мне Господи слова, которые были бы лучше молчания...»

...Понятно, что идти на переговоры к врачу нужно было нам с Петром.

Андрей остался с Василием.

Не то, чтобы мы боялись, что тот убежит, просто не стоило оставлять Васю одного в такой момент.

Какой момент?

Мы и сами не знали.

Думали, что то, что происходит – трагедия.

А это была только прелюдия...

...У дверей нам встретила женщина в белом халате.

Интересная вещь, мужчины всегда одевались однообразно: фрак, сюртук, пиджак, а женщины – наоборот – расцвечивали свои одежды и по форме, и по содержанию.

Но, в то же время, как, на мой взгляд, форма – от военной, до медицинского халата – идет к лицу женщине, и как она глупит мужчину.

Хотя многие считают – наоборот.

– А доктора еще нет, – сказала женщина, и нам ничего не оставалось сделать, кроме, как посмотреть на часы.

– И здесь такой же бардак, как во всем государстве, – безэмоционально констатировал я. А Петр ответил:

– Наводить порядок в государстве – довольно унылое занятие.

– Откуда ты знаешь?

– Сужу об этом по мытью посуды у себя на кухне...

В дверь входили и выходили разные люди, и прошедшего мимо нас врача, мы не заметили, но та же самая женщина в белом халате, выглянув из окна второго этажа, крикнула нам:

– Доктор пришел...

Художник Петр Габбеличев

Я первым вошел в кабинет, на потемневшей от времени двери которого висела стандартная табличка под стеклом: «Заведующий вторым отделением Зарычев Д.Н.»

Кабинет был самым обыкновенным, какими бывают кабинеты маленьких начальников, не влиятельных, но и не бесправных.

Хотя бы в пределах здания, в котором они находятся.

И если бы не змея, плюющаяся в бокал из-под полусухого шампанского, широкий, но не глубокий, для того, чтобы пена не поднималась высоко, а равномерно распределялась по поверхности тонким слоем, проглядывающая на каких-то документах – толи дипломах, толи грамотах, под стеклами, какими украшены стены всех кабинетов – о том, что это кабинет медика, а не чиновника, догадаться было бы невозможно.

Впрочем, была еще одна деталь, которая отличала кабинет доктора Зарычева, от чиновничьего – я это сразу почувствовал, но сообразил, в чем дело, уже потом, когда мы возвращались в Москву.

На стене, той стене, что за спиной хозяина кабинета, не было портрета президента.

...В своей жизни, мне приходилось посещать самые разные кабинеты, но мысль о том, что хозяин кабинета, почему-то, всегда сидит спиной к верховному портрету, пришла в мою голову именно здесь, в общем-то, в сумасшедшем доме.

Может для того, чтобы в голову приходили разумные мысли, мне нужно почаще посещать сумасшедшие дома?

А, может – не только мне?

Уже потом я спросил Гришу:

– Обратил внимание на то, что у врача-психиатра нигде нет портрета президента?

– Наверное, Петр, у президента тоже нигде нет портрета врача-психиатра.

– Как ты думаешь – почему?

– Возможно потому, что врачи-психиатры так же уверены в том, что им не нужны президенты, как президенты уверены в том, что им не нужны врачи-психиатры...

...За столом я увидел человека с усталыми глазами.

Он сидел за столом.

«Не удивительно – не за роялем же ему сидеть», – подумал я.

Человек, очевидно он и был доктором, после некоторого молчания во время которого, я был осмотрен с головы до ног, спросил:

– Вы пришли лечиться?

– Нет, – ответил я, – Я уже двенадцать лет вообще не употребляю спиртного.

– Тогда, что вы здесь делаете?

– Я и сам задаю себе этот вопрос, – возможно, несколько невпопад ответил я, и тут же получил возможность убедиться в том, что передо мной профессионал:

– Присаживайтесь, – предложил мне доктор. Хотя, если бы после моих слов, он сказал бы: «Тогда пойдите к черту,» – я б не удивился.

Но доктор не послал меня к черту, а предложил стул:

– Присаживайтесь, – повторил он, – Что вас волнует?

Ничего себе – вопрос.

Я думал довольно долго, и доктор не торопил меня:

– Пожалуй, ничего...

Кроме глобального потепления, конечно.

– Если глобальное потепление – это все, что вас волнует, то вы настолько нормальны, что вполне можете считаться клиентом психиатра.

– Кто вы по профессии? – спросил доктор.

– Художник.

– Не думаю, что мой вкус в живописи может служить образцом.

К сожалению

– У вас хороший вкус, – ответил я, и, встретив слегка удивленный взгляд врача, добавил:

– Если вы в нем не уверены...

– А тот, кого вы привезли – тоже художник?

– Пока – да...

– Скажите, только правду, вы хотели бы остаться в вечности? – толи доктору так удобно было вести разговор, переходя без всякого предупреждения от одной темы к другой, толи – это был какой-нибудь тест. Но я ответил легко, потому, что ответ на этот вопрос должен дать, прежде всего, себе, каждый художник:

– Конечно – хотелось бы. И ради этого, я готов забыть о том, что вечная жизнь – это шанс для идиотов...

И тогда доктор задал мне вопрос, на который мне было трудно ответить:

– Вы женаты?

– В общем... – ответил я. А потом размыслил вслух:

– Скорее – да, чем – нет...

– А, тот, кого вы привезли – женат? – доктору было очевидно больше, чем мне показалось.

– Нет. Но у него есть девушка.

– Водка приводит человека к последней черте, – доктор как будто, рассуждал на отвлеченную тему, – Казалось бы – зачем у этой черты мужчине нужна женщина?

– Наверное, когда мужчине трудно, он приводит в дом женщину, – ответил я. Потом подумал и добавил:

– Впрочем, в остальное время, мужчина делает то же самое...

– ...Вы верите в бога? – спросил доктор. И, видимо, после этого вопроса, я слишком долго молчал, потому, что доктор задал другой вопрос:

– А тот, кого вы привезли, верит?

– Не знаю.

Во всяком случае, сейчас, в портвейн он верит куда искренней, чем в божий промысел.

– Скажите, а вам самому до сих пор снятся алкогольные сны?

Несколько опешив оттого, что доктор Зарычев догадался о том, что у меня были проблемы с алкоголем, я сказал правду: «Да.»

– Не удивляйтесь, но о том, что вы не пьете уже двенадцать лет, вы сказали с рефлекторной гордостью. Такое бывает только у бывших запойных пьяниц...

Наступило молчание.

Потом, я оглянулся на продолжавшего стоять у дверей Григория, и Гриша вышел.

И через несколько минут, он и Андрей привели Васю.

– Ну-с, – сказал доктор Зарычев после того, как Вася сел на освобожденный мной стул, – Расскажите мне о своих проблемах.

- У меня нет никаких проблем, – ответил ему Василий.
- Тогда расскажите о том, как вы добились в жизни такой удачи?...

Художник Андрей Каверин

Я смотрел на стоящего ко мне спиной Василия, на его сторбившуюся спину, и мне было очень тяжело.

Как не крути, а мы привезли друга в психушку.

И сколько бы я не говорил себе, что Василий виноват сам, а мы не бросаем, а спасаем его, на душе все равно было муторно.

И мой мозг противоречил моей душе.

А душа противоречила мозгу.

И не то, не другое не становилось главным.

Может именно в этом и заключается их единство: душа поправляет трезвый расчет, а мысль корректирует душевные порывы.

И совершенен только тот человек, который может отличить одно от другого, не поддавшись чему-то одному.

Правда, совершенный человек – не свободен.

И это плата за любое совершенство.

Ведь свобода – это еще и право людей делать неправильный выбор...

...Еще несколько лет назад, когда мы только познакомились, Василий был самым веселым из нас, не беззаботным, а именно веселым:

«...Воровали мы яблоки. Я на самую верхушку забрался, а тут – сторож. Ну, я и сиганул вниз. Хорошо, что снега было по пояс, а-то бы точно ноги переломал...»

«...Помню, под Воркутой, сопка, аж потемнела, как тенью тучи накрытая. Тьма саблезубых зайцев-шатунов. Им не пути не становись. Оленя в шесть секунд до костей обглаживают...»

«...Еду я на днях с Хакамадой в метро...»

А теперь, мы молчим.

Хотя я понимаю, что я должен сказать Васе что-то серьезное, по-настоящему важное, но у меня нет слов.

Если бы люди всегда знали, где найти правильные слова, они, наверное, были бы счастливы.

Или, наоборот.

Перестали бы быть людьми, даже не заметив этого...

Как-то я сказал Грише Керчину, когда тот уничтожил свою, неудачную, по его мнению, картину:

– Для того, чтобы быть не довольным собой, нужно быть очень самокритичным человеком.

Григорий ответил мне:

– Для того, что бы быть недовольным собой, нужно быть разумным.

Не больше...

А потом добавил:

– Самокритичным нужно быть для того, чтобы не быть недовольным другими...

Если бы я продолжал думать о том, что нас четверых связало, то, вспомнив об этом случае, легко смог бы понять – что именно?

Каждому из нас было, что сказать остальным...

...Ни под разумного, ни под самокритичного, в этот момент я не подходил ни по каким, даже самым раздутым меркам.

И потому, мне простительно, что я задал глупый, но едва не оказавшийся вещим, вопрос:

– Василий, как ты думаешь, что о нас скажут женщины, когда мы умрем?

Разве я мог предположить – что я кличу?

Вася оглянулся, посмотрел мне прямо в глаза.

Это был прежний Василий.

Пусть на одно это мгновение, но в это мгновение я понял, вернее, почувствовал, что, спасая его, мы поступаем небезнадежно.

А он сказал, и не тихо, и не громко.

Как говорил всегда:

– Все будет зависеть от их настроения.

Но соврут они, как всегда, когда говорят о нас...

И, чуть помолчав, добавил:

– Ведь, именно за это мы их любим...

А потом из дверей вышел Керчин.

Медленно, как мне показалось, нехотя, подошел к нам.

Постоял.

Помолчал.

Молчал и Василий, и тогда я спросил:

– Пора? – и Гриша кивнул.

В какой-то момент я подумал: «Да, что за трагедия, в конце концов. Не в тюрьму же мы его привезли.

Проболтается месячишко, а потом выйдет, Бог даст, свеженький, как огурец с грядки.»

Наверное, то же самое подумал и Григорий.

И не могли мы знать того, в начало какой трагедии, трагедии, обесселяющей все наши мысли и поступки, мы вступаем.

В кабинете врача, мы, я Гриша и Петр, оставались минуты две-три, не больше, а потом, доктор Зарычев предложил нам выйти.

А он остался с Василием наедине.

Для того чтобы поставить диагноз.

Когда мы выходили во двор, произошел довольно комичный случай. Двое, в сероватых байковых робах, даже не второго, а какого-нибудь тридцать первого срока, делающего невозможным определение первозданного цвета ткани более точно, чем сероватый, ринулись открывать нам дверь, при этом, вступив в дискуссию, которую в ином месте, вполне можно было бы назвать дракой.

Мы так и стояли в предбаннике, а между нами и дверью, два человека безуспешно старались доказать все право на оказание нам услуги.

Это могло затянуться на неопределенный срок, но тут появилась уже знакомая женщина в белом халате:

- Не бойтесь, проходите. Эти из первого отделения – они не буйные.
- А что они делают? – поинтересовался Григорий.
- Надеются на то, что тот, кто откроет вам дверь – получит сигарету.

– Здесь, как и везде, – проговорил Петр, – Существует конкуренция.

- А им можно курить? – спросил Григорий.
- Можно, – ответила женщина. И добавила, не вполне понятно для нас, что, имея ввиду – дав своеобразную характеристику состояния человека:
- Этим – все можно...

Григорий отодвинул рукой обоих спорщиков, пропуская нас к двери, потом достал из кармана пачку сигарет и, уже собравшись отдать эту пачку тем, кому «все можно», остановился, поняв, что поступает не правильно.

А потом продемонстрировал, что ему самому пока «можно не все».

Он разделил, находившиеся в пачке сигареты, на две, приблизительно равные части, и отдал эти сигареты обоим больным, каждому по отдельности.

Мы вышли на солнышко двора.

Теплое, но не душащее, дружащее с ветерком.

– В такую погоду хорошо бы на природу, – сказал я, – Потому, что в такую погоду на природе лучше, чем в городе, где между человеком и погодой слишком большая дистанция, и где от погоды слишком много защитных средств.

Хочется туда, где все естественное.

Петр, помолчав немного, видимо не зная, как себя понимать, учитывая место, время и надпись на воротах, сказал:

– Туда – где все естественное?

А мы где, по-твоему, находимся?..

На дворе нам пришлось пробыть не долго потому, что та же женщина в белом, появившись в дверях, помахала нам рукой:

– Художники, – быстро же разносятся слухи по дурдому. Почти, как по союзу художников, – Зайдите к Дмитрию Николаевичу.

– Мы разговариваем с вами уже не в первый раз, но даже не знаем, как вас зовут? – спросил Петр у женщины в белом халате. Если бы Петр у нее еще и телефон попросил – это был бы некоторый перебор. А так: «Как вас зовут?» – это вполне нормально.

– Зовут меня Наташа.

Но вы это все равно забудете.

– Почему вы так думаете? – слегка удивился Петр.

– Потому, что я, – удивилась вопросу Петра Наташа, – Эпизод.

Когда мы поднялись на второй этаж, Василий стоял в коридоре.

Увидев нас, он просто кивнул в сторону дверей кабинета доктора Зарычева.

– Мы-то, зачем понадобились опять? – спросил я. А Василий пожал плечами:

– Вам, наверное, тоже диагноз ставить будут. Здесь поступают разумно, и ставят диагноз, прежде всего тем, кто уходит.

Острота, конечно, так себе, ничего особенного, и я запомнил ее только потому, что это была последняя острота Василия...

Художник Григорий Керчин

Пока нас не было, в кабинете что-то неуловимо изменилось.
Как что-то меняется в доме, в который приходит «похоронка.»
Но это изменение было таким чувствительным, что я не удержался:
– Что случилось?

Доктор Зарычев поднял на меня свои глаза, но еще несколько секунд молчал.
Потом, вздохнув, проговорил:
– Ваш друг не только пьет.
Он еще и колется...

В предисловии истории о будущей трагедии последняя точка была поставлена.
Хотя мы этого еще не знали...

Потом доктор говорил нам что-то о том, что по традиции у Василия будет взята кровь на анализ, о том, что у него есть методика лечения наркомании, а мне было стыдно за Василия, именно стыдно, хотя я и не понимал тогда, откуда взялось это чувство стыда.

Это я пойму потом, а пока я просто сказал:

– Доктор, делайте все, что можно.

Мы заплатим.

Видимо, я сказал это невпопад, потому, что вдруг наступило молчание.

Секундное, но все же – молчание.

И от этого, вернее от моих слов, мне стало неловко.

Потом, доктор нарушил его:

– Все проблемы были бы мелкими, если бы их удавалось бы решать только при помощи денег...

Уже когда мы выходили из кабинета, Петр спросил:

– Дмитрий Николаевич, а Василия вы тоже спрашивали о том, хочет ли он остаться в вечности?

– Да.

– И что он ответил?

– Он сказал: «Моя жизнь и так – вечность.

Только усеченная...»

...Мы ездили в моей машине все, вчетвером, не часто.

Это, скорее, случалось как исключение, а не, как правило.

Но, сейчас, когда мы возвращались втроем, мне очень ясно сочувствовалось, что мы не все вместе.

До пустоты, переходящей в боль где-то в районе солнечного сплетения.

И по подвешенному в кабине, густому и неласковому молчанию, зналось, что и Петр, и Андрей испытывали то же самое.

Может именно с этого начинается понимание ценности каждого отдельного человека – с того, что понимаешь, что твоего, а не чьего-то еще, друга нет с тобой рядом.

Если для того, чтобы начать понимать это, требуется беда – это довольно удручающий вывод.

Для каждого из нас.

И для человечества в целом.

– Ладно, – нарушил это молчание Андрей, – Время – лучший лекарь.

Пройдет время, и мы не вспомним об этом.

– Да нет, Андрей, вспомним, – вздохнул я, – Вернее – не забудем.

Хотя, время – это действительно то, что лечит лучше всего.

– Время не лечит, – ответил мне Петр, – А ставит диагноз...

...Когда-то, в своей безбородой юности, кстати, я и теперь отпускаю не то, чтобы бороду, а только недельную щетину, мне не раз задумывалось о том, в какой исторический период мне хотелось бы жить.

И как только, мне удавалось полюбить какую-нибудь эпоху, как в ней находились неприемлемые для меня изъяны.

Так случилось, например, с эпохой Великих географических открытий. Стоило мне позавидовать современникам Колумба и Магеллана, как выяснилось, что это было время разгула «охоты на ведьм».

Какое-то время мне нравился Древний Рим, но, прочитав о любимом развлечении римлян – гладиаторских боях – я понял, что не хочу быть там.

Ни на белом песке арены, ни скамейках амфитеатра, даже покрытых мягкими подушечками.

Когда я начал заниматься восточными единоборствами, вернее, когда стал выходить на соревнования, пришлось повидать и тех, и других – ведь я отлично понимаю, что три четверти людей в переполненных залах, приходят посмотреть на кровь, может – мою. А половина соперников выходят не соревноваться, а драться.

И мне пришлось отнестись к этим людям безразличным терпением.

Что касается войн за мысль, то, если государство не приручает философов – это не государство.

Правда, если государство приручило философов – это не философы.

С поэтами, кстати, то же самое...

Теперь я понял, что каждое время, в том числе и отведенное мне, включает в себя и то, что мне нравится, и то, чего я терпеть не могу, и принимаю это настолько покойно, что даже не замечаю этого.

Наверное, я стал терпимее к времени.

А, может, просто перестал предъявлять к времени такие высокие требования, какие оно не может удовлетворить априорно.

– ...Гриша, – прервал мои мысли Каверин, – Останови у какой-нибудь забегаловки.

– Что случилось?

– Хочу выпить.

Я притормозил у ближайшего придорожного ларька.

– Гриша, ты – за рулем, а тебе, Петр – я не предлагаю.

– Редкий случай, – почти не разжимая губ, проворчал Петр, – Редкий случай, когда я сожалею, что я не пью.

– Если уж праведники иногда сожалеют о своей праведности – чего же ждать от обычных людей...

Потом, уже вечером, у меня дома, мы, я и Андрей, напились.

Пили долго.

До темноты.

Пока на небе не выступили здоровенные чистые звезды.

– Ну и что раззвездились? – размахивая головой из стороны в сторону, высказался по поводу звезд Андрей Каверин.

Мне как-то нечего было добавить, а Петя Габбеличев – он не пил, а просто сидел между нас – сказал:

– Звезды – это то, что нам раньше обещали ученые, потом – политики, а теперь – врачи-психиатры...

Художник Петр Габбеличев

Мальчик лет пяти, мой сосед, как-то постучался в мою дверь.

Он принес мне показать свои рисунки: квадратик с двумя кружочками снизу, у него был машиной, квадратик с треугольником наверху – домиком, а квадратик с кружочками над ним – вазой с цветами.

В это время, мне удалось, наконец, завершить триптих, который я, с перерывами, писал полгода: лучи солнца, радуга и туман – как символы человеческой души, существующие в природе в чистом виде.

Вышло так, что у нас с моим маленьким соседом, оказалось по три готовых картины.

Я посмотрел его рисунки, а потом спросил:

– Как ты думаешь – у кого из нас получилось лучше?

Пятилетний сосед подумал и ответил:

– У нас обоих хорошо получается.

Если мы стараемся...

...Я не пью уже больше десяти лет.

А раньше пил, и постепенно – все больше и больше.

И запои из трехдневных, стали превращаться сначала в недельные, а потом и в месячные.

От меня стали отворачиваться вначале соседи, потом знакомые и, наконец – все подряд.

Дольше всех держались мои дети.

До сих пор помню день, когда я выпил последнюю бутылку.

...Сыновья Саша и Серега пришли ко мне, постучались как-то не смело, войдя, долго молчали.

А я стоял у окна в кухне, трясущийся, заплеванной, грязный, и думал о том, что там, за окном, проходят самые обычные люди, с самыми обыкновенными проблемами, а у меня одна мысль – где взять еще бутылку?

И ненавидел себя за это.

Потом я стоял и смотрел на своих сыновей, и Саша произнес слова.

Не знаю, что им говорила мать – без бывших жен наверняка не обошлось, хотя мы никогда не говорили с сыновьями об этом.

Но слова произнесла не бывшая жена, а сыновья.

И я видел, как дрожали их, тогда еще детские, губки:

– Такой, ты нам больше не нужен, – наверное, они очень любили меня своей детской, все прощающей, надеждной на хороший конец, любовью.

Так могут любить только дети.

Я молчал не долго, потому, что уже давно был готов к решению:

– Сыночки, у вас есть деньги на бутылку?

– Есть, – Саша не знал, что мое решение уже принято, и его голос звучал вызовом.

Наверное, они ожидали от меня любых слов, но только не этих.

– Купите, – прошептал я. От длительного запоя у меня пропал голос.

– Хорошо, – видимо, их детским умам вдруг все стало безразлично.

Дети ушли, и вернулись довольно быстро.

Но все-таки, я успел вновь передумать все.

Я алкоголик.

Я пришел к концу, потому, что ни на какие начала, я уже не способен.

Я пока еще достаточно разумен, чтобы не врать себе о том, что все это не так.

Мой товарищ, Игорь, врач, не раз предлагал мне лечиться.

У меня только один шанс сохранить детей, – все это промешалось в моей замусоренной алкоголем голове, а через оконное стекло я увидел подходящих к подъезду Сашу, тогда более высокого, и Сережу, идущего чуть позади, со свертком, прижатым к груди.

Дверь была открыта, и дети вошли без стука:

– Вот тебе, – ни один из них даже не назвал меня отцом, и я должен был сказать им самое главное, до того, как они уйдут.

Тогда я не отдавал себе отчет в этом, но им я тоже отводил роль в моем поступке.

В конце концов, не такая я уже сволочь, чтобы обмануть своих детей.

Такую, вот, сделал я подпорку под свою возможную слабость – бегство в последний момент:

– Вот, что, сыночки, сейчас я выпью эту бутылку потому, что мне очень плохо. На это уйдет минут сорок, может час.

Так вот, через полчаса звоните к Игорю Михайловичу. С ним все обговорено – пусть приезжает за мной.

Это – последняя бутылка...

– Мы тебе верим, – я не рассмотрел, появились ли слезы в глазах моих детей, потому, что слезы появились в моих глазах.

...И мне повезло – жизнь как-то сразу изменилась: откуда-то выплыли заказы, дела пошли на лад. В общем, когда через год пришло время повторить лечение, мы договорились с Игорем о том, что чтобы не платить лишнего, я повторять не буду, потому все равно уже не буду больше пить.

– Старик, имей ввиду, многое только кажется – водка очень опасна именно тем, что дает иллюзию того, что отпустила.

А сейчас – самый пиковый для тебя момент.

– Я знаю.

– Ну ладно, – пожал плечами Игорь, – Заеду через неделю. Если запьешь – заберу

– Не запью.

– Посмотрим... – сказал он, как мне показалось – с сомнением. Но я не запил, а о том, что я не стал повторять лечения, мы с Игорем, чтобы не волновать друзей и родственников, не сказали никому, кроме моего старшего сына Александра.

А потом, Игорь уехал в Америку, строить свое, американское, счастье.

И лечить Васю у него, мы уже не могли.

По началу мои знакомые не верили в то, что я бросил пить:

– Ходят слухи, что ты теперь не пьешь? – спрашивали меня первое время.

Иногда, я ничего не отвечал на это, иногда – отвечал:

– Мне трудно предположить, что ты настолько глуп, что не веришь слухам...

От того времени остались довольно сложные, хотя и расплывающиеся со временем, воспоминания.

Но вот на что я обратил внимание теперь: стоишь у окна и смотришь на обычных людей с обыкновенными проблемами – никто не воюет с критиками, не пишет картин и рассказов. И уж, тем более, не замахивается на роман и самую длинную в России серию картин – «XX-й век» – и, иногда, опять завидуешь им...

...Я не стал ханжой, и вино в доме у меня есть всегда.

А взамен своего непьянства, я получил маленькое удовольствие от наблюдений за пьющими людьми.

Первым толчком к этому стал такой случай: я обратил внимание на то, что с моими бывшими собутыльниками, мне не о чем разговаривать даже с трезвыми. Но хорошо помнил о том, что, начиная пить с ними, я разговаривал с каждым из них на равных.

Вывод напрашивался даже без стука в дверь – выпивая, я глупел до их уровня.

Потом, когда достаточно регулярно, мне приходилось оказываться за различными, многолюдными и не очень, застольями, наблюдение за процессом опьянения доставляло мне почти такое же удовольствие, ненаблюдение за ним.

Ведь, кроме всего прочего, я стал терпеть не мочь пьяных.

Правда, к моим друзьям это почти не относилось, да и видел я их выпившими очень редко – так уж выходило, что мы дружили на деле, а не на отдыхе.

И, все-таки, сейчас, в очередной питьевой момент, их заинтересовал такой вопрос:

– Петр, почему ты с Галкиной с утра до вечера? – тема могла бы разрастись до значительных объемов, но мне удалось погасить ее принципиальной постановкой ответа:

– Почему я с утра до вечера с красивой женщиной?

Попробуй угадать с трех раз?

Я, конечно, понимал, что когда-нибудь, рано или поздно, мне придется сказать друзьям о Гале – слишком давно мы не были с ней друзьями, чтобы об этом кто-то помнил; и слишком долго мы с ней были, или казались, врагами, чтобы об этом не знали все.

И в то же время, это была тема, о которой я с друзьями говорить не мог.

Бывает так, что о чем-то нельзя говорить даже с теми, с кем можно говорить обо всем.

Дело в том, что мой бывший враг критик Галя Галкина оказалась идеальной женщиной: умной, красивой, сильной, верной.

Иногда женщины бывают такими, какими женщины никогда не бывают...

Однажды, в разговоре с Гришей Керчиным, не помню уже по какому поводу, я произнес слово: «Идеал...»

– Идеалы? – ответил Григорий, – Это хорошо.

Это что-то вроде препятствий на скачках.

Только не понятно – зачем они существуют? Для того, чтобы дух захватывало при встрече, или для того, чтобы твоя кобыла ноги переломала...

– Да, Галкина все-таки – красивая, – позаплетал языком Андрей, поднимая стакан с водкой, а Гриша добавил:

– Красивая, но все-таки – Галкина...

Больше обо мне почти не вспоминали.

Если не читать того, что в какой-то момент, Андрей посмотрел на меня, потом на себя в зеркало и высказался, ни к кому не обращаясь:

– Петр такой молодец, что немного порока нам с Гришей не повредит... – при этом он погрозил себе пальцем.

Дальше у Андрея и Гриши наступила фаза, во время которой можно было начать придаваться главной страсти всех россиян – страсти к доступной уму философии после третьего стакана...

...Телефон в квартире Григория Керчина зазвонил, когда они с Андреем перешли к третьей бутылке – на этом этапе отвечать по телефону можно все.

Какая разница?

Поэтому, трубку взял я.

Звонить мог кто угодно, и в любом случае, я мог предложить перезвонить на утро.

Но звонил тот, чьего звонка не ждал никто – доктор Дмитрий Николаевич Зарычев:

– Вы не спите?

– Нет. А что случилось?

– Все.

– Что – все?

– С вашим другом случилась беда.

– Говорите, доктор.

Медицина – это лучшая из бед, с которой сталкиваются люди...

– У вашего друга гепатит.

– Что?

– Гепатит С.

– Это точно?

– Мы послали кровь на повторный анализ.

Но, вы сами понимаете, каким будет результат.

И помните – бессилие начинается с непризнания фактов.

– Дмитрий Николаевич, может случиться какое-нибудь чудо, и это окажется ошибкой?

– Я не верю в чудеса, и, потому, со мной они не происходят.

– Доктор, что мы можем сделать?

– Прежде всего, предложить его девушке пройти анализы крови.

Конечно, с одной стороны – человек – это целая вселенная и венец мироздания.

Но, с другой – всего лишь, очередная среда обитания для вирусов.

– Так, – вздохнул я, – На днях мы приедем.

И спасибо, что позвонили, Дмитрий Николаевич.

– Я позвонил не случайно.

Мне показалось, что вы и ваши друзья – хорошие люди.

– Вы тоже хороший человек, доктор.

А хорошим человеком случайно быть трудно.

– Чем сейчас занимаются ваши друзья?

– Упражняются в слабоумии.

– Что?

– Водку пьют, – я сообщил об этом доктору спокойно, хотя и понимал, что обычно, водка, не может быть оправданием водке.

Исключение, составляют только те случаи – когда может.

– Я тоже, – сказал мне на прощанье доктор Зарычев, а потом в трубке послышались короткие, как позывные первого искусственного спутника, гудки...

О том, что у Васи гепатит, я решил не говорить Григорию и Андрею до утра.

До утра я должен был нести эту ношу один...

Тогда, я не позавидовал себе.

Но ведь я не знал, что это – самая легкая часть этой ноши.
Остальную – мы потом разделили на всех четверых поровну...

Художник Василий Никитин

Любой вопрос можно решить тройко: правильно, неправильно и так, как в России...

...Когда мне определили место в палате, я, поначалу, испытал некоторое замешательство, граничащее с легкой оторопью и, даже, с робостью.

Просто, кое-кого из других отделений, я встретил во дворе, пока ждал старшую медсестру, выдавшую мне больничную робу и комплект довольно чистого, хотя и потертого постельного белья.

После раздачи слонов, старшая медсестра притянула мне какой-то гроссбух:

– Это правила поведения в больнице. Прочтите и распишитесь.

Я подержал увесистый канцелярский том на руке, ощутил его вес и значительность, а потом вернул его старшей:

– Распишусь просто так.

Мне жизни не хватит, чтобы все это нарушить.

Медсестра посмотрела на меня, не враждебно и даже не осуждающе. Скорее – разочаровано, как смотрят на человека, который не оправдал ожидания при разгадывании кроссворда, и не уловил очевидного:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.